

257011  
с автографом











257011

В Центр. научно-учеб. библиотеку  
(О. Университетский).

В. Бузескул

10. VI  
851

В. П. БУЗЕСКУЛ

Из истории Харьковского университета второй  
половины 70-х годов прошлого века<sup>1)</sup>

(ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ)

Многим известно, что Дмитрий Иванович Багалей — питомец Киевского университета, ученик В. Б. Антоновича, но, вероятно, лишь немногие знают, что он, будучи на первом курсе и вынужденный на время покинуть Киев, в весеннем полугодии 1877 года состоял студентом Харьковского университета.

Тогда, пятьдесят лет тому назад, я, в то время студент-первокурсник, впервые с ним встретился. Вместе, помнится, подходили мы экзаменоваться у А. А. Потебни и у профессора философии Ф. А. Зеленогорского... По окончании экзаменов с первого курса на второй, Дмитрий Иванович возвратился в Киев. В феврале 1883 года он был избран доцентом русской истории в Харьковском университете, и с тех пор его имя стало неразрывно связанным с этим университетом и с общественной жизнью гор. Харькова.

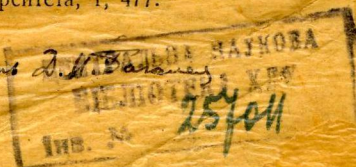
Здесь я хотел бы поделиться своими воспоминаниями о Харьковском университете того времени, когда мы были студентами и когда Дмитрий Иванович вступил в среду харьковских профессоров<sup>1)</sup>.

Своим внешним видом Харьковский университет того времени далеко не походил на „храм науки“. За исключением акушерской клиники, имевшей наемное помещение в другой части города, весь он, со своими остальными клиниками, кабинетами, аудиториями, библиотекой, канцеляриями, ютился в старых, невзрачных зданиях, на небольшом пространстве, по обе стороны Университетской улицы, между двумя площадями: бывш. Соборной и Павловской. Прежде всего бросалась в глаза чрезвычайная в нем теснота. Один знатный путешественник, проездом через Харьков осматривавший университет через несколько лет после его основания, высказывал предположение, что „университет помещен в генерал-губернаторском доме, чайтельно на время, потому что он не довольно для сей цели обширен“<sup>2)</sup>. И действительно, университет находился во „временном помещении“, но это временное помещение превратилось для него в постоянное. В. А. Жуковский, видевший Харьковский университет в 1837 г., в своем дневнике так формулирует свое впечатление: „в университете — бедность и теснота“. Бедность и теснота — это был хронический недуг нашего университета. В его распоряжении „не находилось ни одного угла, на счет которого он мог бы расширить хотя бы и одну аудиторию“. Лучшее в нем помещение

<sup>1)</sup> Ср. мою статью „Образы прошлого“ в „Анналах“. II (1923), стр. 235.

<sup>2)</sup> Д. И. Багалей. Опыт истории Харьковского Университета, I, 477.

1 Из собрания (Харьковского) в честь Д. И. Багаля





занято было квартирой попечителя учебного округа. Долго,—и до самого 1906 года тщетно,—хлопотал университет о предоставлении ему для его нужд этого помещения. Один попечитель (генерал Максимовский) в начале 80-х годов в ответ на такие хлопоты предлагал совету перенести музей изящных искусств частью в актовый зал, а большую часть в сарай и на чердак, на что совет, конечно, не согласился.

Но теснота и это сосредоточие университета в одном месте имели и свою хорошую сторону. Чтение всех лекций, кроме клинических, происходило в одном и том же старом корпусе, где расположены были аудитории. В коридоре теснились студенты всех факультетов; в профессорской сходились представители разнообразных специальностей. Как между студентами разных факультетов, так и между профессорами было больше общения, нежели впоследствии; слушателям одного факультета легче и удобнее было посещать лекции других факультетов. А из тесных аудиторий и клиник Харьковского университета нередко выходили хорошие специалисты и крупные ученые. В виде примера можно назвать имена Остроградского, Н. И. Костомарова, И. И. Мечникова, В. В. Заленского, Максима Ковалевского. Из среды же студентов Харьковского университета вышли такие его профессора, как В. А. Стеклов на физико-математическом факультете (впоследствии академик и вице-президент Академии Наук СССР), профессор международного права Д. И. Каченовский на юридическом, имевший связи с крупными представителями ученого и политического мира Западной Европы, являвшийся в университете главою либерального западничества, непримиримый враг милитаризма; как И. И. Срезневский и А. А. Потебня на нашем, Л. Л. Гиршман на медицинском факультете. О двух последних именах едва ли надо распространяться: они еще памяты современному поколению.

О профессорах не историках, бывших на нашем факультете в мои студенческие годы, в том числе и о А. А. Потебне, я уже говорил в другом месте<sup>1)</sup> и теперь не буду повторять сказанного. Я останавлиюсь здесь преимущественно на историках или представителях научных дисциплин, близких к истории.

Профессора-специалиста по русской истории в Харьковском университете в мои студенческие годы не было; кафедра оставалась вакантной в течение почти восьми лет, после перехода в 1875 г. проф. Н. Я. Аристова в Нежинский историко-филологический институт и до избрания в доценты Д. И. Багалая в 1883 г. Факт странный, и я объяснить его в точности не умею. Знаю, что готовившийся к профессоруре по русской истории Ильинский умер как раз в то время, когда уже готов был к магистерскому экзамену; что велись, кажется, переговоры с Н. И. Костомаровым и В. И. Семевским, ни к чему не приведшие; что ждали, пока подготовится оставленный при университете П. Н. Буцинский, потом и занявший кафедру вместе с Д. И. Багалеем. В течение же восьми лет русскую историю преподавали историки всеобщие: до моего поступления в университет М. Н. Петров читал специальный курс о Петре Великом; при нас русскую историю читал Василий Карлович Надлер, бывший деканом нашего факультета.

Медленной походкой в аудиторию входит профессор, на вид лет под сорок, среднего роста, коренастый, с красноватым лицом, носящим,

<sup>1)</sup> „Анналы“, II (1923), стр. 239 сл.



a. VI.  
851

повидимому, следы рожистого воспаления, с бородой, со взглядом несколько исподлобья. Это был В. К. Надлер. Он начинает лекцию и скоро увлекает нас своею легкою, свободною, плавною речью, без записок или каких-либо конспектов. Известно, какое значение внешней стороне изложения придают студенты-новички. Кончилась лекция, и мы между собою говорим: „Хорошо подготовился профессор Надлер к своей первой лекции; послушаем, как он будет читать дальше, вероятно — по запискам“. Но мы ошиблись: и последующие свои лекции В. К. Надлер читал так же, как и первую. Он обладал огромною памятью; никаких записок или конспектов не составлял, никаких выписок не делал даже тогда, когда писал какую-нибудь большую работу. Обыкновенно он прочитывал материалы, которыми ему приходилось пользоваться, и затем принимался по памяти писать, изредка наводя справки в книгах, которыми бывал обложен. Он являлся полным хозяином своего материала. С удивительной памятью В. К. Надлер соединял редкий дар слова. Речь его была всегда проста, свободна и плавна; он облекал свою мысль в легкую, доступную форму.

Это был историк-повествователь по преимуществу, — по преимуществу, но не исключительно: В. К. Надлер останавливался и на различных теориях или спорных в науке вопросах, на разборе их. В мое время на нашем факультете исторических семинаров еще не было, практические занятия не велись. Такие занятия — по Monumenta Germaniae — В. К. Надлер стал вести потом, по окончании нами курса, и я знаю, что участвовавшие в них студенты проявляли большой интерес к ним; шли эти занятия весьма оживленно, и между участниками возникали горячие прения по поводу того или другого вопроса. Для нас же лекции В. К. Надлера, в особенности специальные курсы, которые он читал по всеобщей истории, до некоторой степени заменяли практические занятия. Разбирая различные мнения, приводя доказательства pro и contra, делая выводы из приводимых данных, В. К. Надлер знакомил нас с приемами, методами исследования.

Русскую историю он читал подробно, обстоятельно и в первый год успел довести изложение только до татарского ига. Второй год был посвящен главным образом возвышению Москвы. Всеобщую историю у В. К. Надлера я слушал на третьем и четвертом курсе, на третьем — историю Византии, на четвертом — историю крестовых походов. Тот и другой курс был большой, подробный: „История крестовых походов“ занимала, например, около 1200 литографированных страниц (оба курса литографировались; мы в числе трех или четырех человек записывали за Надлером по очереди; записывать за ним было легко). Но вследствие легкости изложения лекции эти усваивались без особого труда, и экзамен у В. К. Надлера не был страшен; Надлер экзаменовал добродушно. Историю Византии он довел лишь до XIII столетия, подробно останавливаясь на внешней политической стороне ее: культуре, за недостатком времени, посвятил лишь заключительный краткий очерк. Вообще в лекциях В. К. Надлера преобладало изложение событий, войн, фактов внешней политической истории. Кроме названных курсов, им в другие годы читались начало средних веков, история арабов, иногда римская история, география, но преимущественно — история Германской империи (большею частью до XIII стол.), при чем курс этот разделялся на несколько лет и главным пособием для Надлера здесь служил, конечно, В. Гизебрехт — „Geschichte der deutschen Kaiserzeit“, которую он иногда приносил с собой и на лекции.

1928  
4/4

Пей



В. К. Надлер был специалистом преимущественно по истории средних веков. Лучший его труд — диссертация на степень доктора об Адальберте Бременском — правителе Германии в молодые годы Генриха IV (1867). Перед тем Надлер в Харькове встречал противодействие. Магистерскую диссертацию: „Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе в конце XIV и начале XV в.“, вышедшую года за три до докторской, он защитил в Петербургском университете. Выборы его в доценты сопровождались ожесточенной борьбой в совете между двумя противниками — Каченовским, представителем либерального западничества, и Петром Лавровским, настроенным консервативно и отчасти склонявшимся к славянофильству. Первый упрекал своих противников в nepотизме (В. К. Надлер в первый раз был женат на родственнице Лавровских). Но потом, в особенности после защиты докторской диссертации, положение В. К. Надлера в Харькове упрочилось, и он в течение целых 15 лет был бессменным деканом нашего факультета, до самого перехода в Одессу, сначала по избранию, а потом, с введением устава 1884 г., по назначению. Впоследствии, уже по окончании мною университетского курса, В. К. Надлер стал все более и более переходить от средних веков к истории новейшей и от курсов специальных к курсам общим, кратким. Поводом к его занятиям новейшей историей послужило между прочим появление мемуаров Меттерниха, на основании которых В. К. Надлер написал книгу: „Меттерних и европейская реакция“ (1882). Для политических его взглядов весьма характерно предисловие к этой книге<sup>1)</sup>. За „Меттернихом“ вскоре последовал большой пяти-томный труд: „Александр I и идея Священного Союза“, очень нравившийся читателям из круга так называемых „любителей истории“. Труду этому вредила тенденциозная точка зрения, ясно и резко проводимый в нем провиденциализм. Публичные лекции, которые В. К. Надлер читал довольно часто и при том целыми сериями, посвящались им обыкновенно истории XIX стол. В одной из таких серий он, помнится, отвел много места моменту, который мало знаком нашей публике, — истории междоусобной борьбы северных и южных Американских Штатов из-за отмены невольничества негров.

Уроженец Харькова, питомец Харьковского университета, много лет бывший в нем профессором и деканом историко-филологического факультета, В. К. Надлер в 1891 г. покинул родной город вследствие тяжелых личных переживаний и семейных обстоятельств и перешел в Одессу, где тоже получил не только профессию, но и место декана. Прожил он там недолго: несмотря на видимо крепкое сложение, он умер в 1894 г., всего 54 лет от роду, после долгой, тяжелой болезни легких.

Одним из нас лекции В. К. Надлера чрезвычайно нравились, другие находили отсутствие в них историко-философской стороны „обобщений“, которыми обыкновенно особенно увлекаются молодые студенты, недостаточное внимание к учреждениям, идеям, состоянию общества, не говоря уже о социально-экономической стороне, которая вообще тогда еще редко выдвигалась; находили слишком большое

<sup>1)</sup> Уже он главнейшую, стоящую на очереди задачу времени видел в решении социального вопроса. По его мнению, только государство, сильная государственная власть может осуществить это решение; „бумажные конституции“ не упрочили действительной свободы, не исцелили и сотой доли социальных недугов; „либерализм тождествен для массы с социальным гнетом и экономической эксплуатацией“; его обаяние исчезло „с тех пор, как обнаружилась его неразрывная связь с господством капитала“.



преобладание внешних фактов, внешней истории, элемента повествовательного и отдавали предпочтение лекциям проф. М. Н. Петрова.

От прежних студентов я не раз слышал, каким блестящим лектором был Михаил Назарович Петров, какие художественные картины прошлого рисовал он в своих лекциях. В мое время М. Н. Петров был уже не тот: это был пожилой человек, лет 50 — 55, лишившийся одного глаза и плохо видевший другим. Читал он нам большей частью наизусть, стараясь придерживаться буквально текста своих записок, которые он выдавал нам для литографирования, и если какое-либо слово пропускал, то затем, заметив это, вновь повторял всю фразу, но уже со вставкой пропущенного им сначала слова. Иногда же читал он прямо по тетрадке, прибегая к помощи лупы. Тем не менее, лекции М. Н. Петрова нравились и нам своим сжатым языком, прекрасной литературной формой, а главное тем, что он выдвигал не столько самые факты, сколько их смысл и связь, причины и следствия, стараясь представить, употребляя его выражение, „механизм исторического движения“. М. Н. Петров был историк-художник. На историю он смотрел, по его собственным словам, как „на научное и вместе с тем художественное изложение прошедшей жизни человеческого рода“, ее задачу он видел „в художественно верном воспроизведении прошлого“, а практическую пользу в том, что „она учит нас жить на свете сознательно“, т.-е. понимать, откуда и как произошли явления окружающей нас общественной жизни и отчего эта жизнь именно такая, какою мы ее видим теперь. „Долг историка“, по его мнению, „в конце концов все-таки состоит в том, чтобы не столько судить и осуждать, сколько уразумевать явления былой общественной жизни“. Воззрения М. Н. Петрова на историю особенно обнаруживаются в чрезвычайно живо написанной им статье „Историческая подготовка“, появившейся в только что возникшей тогда в Харькове газете „Южный Край“ (1880 г.). В ней Петров говорит об отсутствии в обществе политического воспитания, исторической подготовки; да такой подготовки массе не откуда и приобрести; ее не могут дать существующие исторические учебники, и Петров остроумно критикует в насмешливой форме самый тогда распространенный учебник Иловайского, показывая, как не следует излагать историю, и затем, в виде примера, дает конспект настоящей истории Англии и Пруссии, какою она должна быть по его мнению. Художественный талант М. Н. Петрова обнаруживается главным образом в его „Очерках из всемирной истории“, которые в свое время являлись одною из любимых книг в кругу преподавателей и учеников старших классов гимназии и выдержали несколько изданий. И у других он любил мастерское изложение, яркие характеристики. Помню, в какой восторг привела его пробная лекция будущего историка Запорожья Д. И. Эварницкого (на звание учителя гимназии), сумевшего живо и ярко обрисовать личность Федора Ивановича. Книга М. Н. Петрова „Новейшая национальная историография Германии, Англии и Франции“, вышедшая еще в начале 60-х годов и послужившая ему докторской диссертацией, которую он защищал в Москве, явилась, и до сих пор остается, единственным в своем роде на русском языке обзором главнейших исторических литератур Западной Европы, дающим характеристику историков и движения исторической науки до конца 50-х годов прошлого века. В литературе, особенно в исторической, М. Н. Петров видит выражение господствующих настроений века и наций, ибо, по его словам, „дух, творящий историю и объясняющий ею созданные явления один и тот же: во взглядах на эти явления и в их оценке



более, чем где-нибудь, заметны направления общества, его желания, цели и идеалы“.

В пору своего расцвета М. Н. Петров читал большею частью среднюю и новую историю. Под конец своей жизни он стал особенно интересоваться историей древнего Востока,—областью, в которой совершались такие поразительные открытия. Нам М. Н. Петров читал всю всеобщую историю во всех ее отделах. На первом курсе мы слушали у М. Н. Петрова древнюю историю, которой он предпосылал „Пропедевтику“ — коротенький очерк развития исторической науки и взглядов на нее, ее предмет и задачи. На втором курсе он читал нам, вместе с юристами, среднюю историю (всю), а на третьем и четвертом, тоже совместно с юристами, — новую: один год реформационную эпоху, другой — век Людовика XIV и XVIII стол. Лекции эти по смерти М. Н. Петрова были изданы, на основании литографированного текста и собственноручных записок профессора, и снабжены библиографическими указаниями, при чем обработку древней истории взял на себя А. Н. Деревницкий, в то время приват-доцент Харьковского университета, средней, равно, как и главную редакцию, — В. К. Надлер, а я — новой. Лекции имели успех и несколько раз переиздавались, были в большом ходу не только в нашем университете, но и в некоторых других высших учебных заведениях<sup>1)</sup> на основании отзыва академика В. Г. Васильевского удостоены полной премии Петра Великого „в виду неоспоримых важных достоинств этих лекций“, как гласит определение Ученого Комитета. Надо заметить, что лекции Петрова в нашей обработке были представлены на соискание премии не нами и не дочерью покойного профессора, а В. Г. Васильевским, без нашего согласия и даже ведома, в чем и повинился он в письме к В. К. Надлеру, говоря, что сделал он это, не предупредив нас, будучи заранее уверен в успехе. Самой слабой в них частью была история средних веков, и я при обсуждении вопроса об их издании высказывался против напечатания древней и средней истории и стоял за опубликование лишь новой. Обработывая курс М. Н. Петрова для печати, разбирая его бумаги, я нередко дивился тому, как при скудости находившегося в его распоряжении материала он умел угадывать истину...

К М. Н. Петрову мы относились с большим уважением. Он держал себя с нами всегда ровно, но с достоинством, с тактом и никогда не популярничал; экзаменовал обстоятельно, ответов требовал вдумчивых, и у него по общему, сравнительно небольшому курсу, труднее было выдержать экзамен, нежели по обширному специальному курсу у В. К. Надлера.

М. Н. Петров был человек даровитый и широко образованный<sup>1)</sup>. Но он не дал всего того, что мог дать при своей даровитости; в молодости, красавец собою, он, говорят, много времени уделял обществу; в пожилом возрасте слабость зрения мешала ему усиленно работать.

<sup>1)</sup> Даровитость его бросалась в глаза, когда он еще был студентом. Блестяще окончив курс, он стал готовиться к магистерскому экзамену. На полях бумаги, полученной от министра с выражением согласия его на оставление Петрова при университете, находится любопытная заметка карандашом, сделанная рукою Кокоскина, тогдашнего харьковского генерал-губернатора и вместе с тем попечителя учебного округа: „Кажется, Петров имеет большое состояние (ежели не ошибаюсь). Спросить г. инспектора, тот ли это Петров, который имеет конский завод и торгует в Харькове лошадьми“. Не оказалось, что М. Н. Петров лошадьми не торговал, а Кокоскин смешал его со студентом первого курса Петровским, отец которого имел конский завод.



В 1887 г. М. Н. Петров вышел в отставку, а в январе следующего года скоропостижно скончался.

Славяноведение, в частности историю славян, нам преподавал Марин Степанович Дринов. Болгарин родом, питомец Московского университета, член всех славянских академий и член-корреспондент Петербургской Академии Наук, М. С. Дринов, по верному замечанию своего соотечественника проф. Златарского<sup>1)</sup>, представлял собою целую энциклопедию по славяноведению, являясь выдающимся специалистом в одно и то же время как в области славянских языков, так и в области истории славян,—редкое сочетание языковеда и историка. Особенно, однако, выдаются его исторические труды, например, его „Очерк истории Болгарской церкви“, произведение его молодости на болгарском языке, и докторская диссертация: „Южные славяне и Византия в X в.“ (1876), о которой тот же Златарский говорит, что она составила эпоху в научной разработке истории южных славян и вообще в славянской истории, внося новое освещение и новое объяснение фактов... А. Н. Пыпин еще в 70-х годах назвал М. С. Дринова „важнейшим и уже вполне по-европейски ученым историком болгарским“. У Дринова была большая библиотека и собрание рукописей. К нему обращались за справками славясты из других городов и стран. В его доме нередко можно было встретить его соотечественников, ищущих или указаний, советов в научных вопросах или вообще какого-либо содействия. Лица, которые прикомандировывались к Харьковскому университету и занимались под руководством А. А. Потебни, пользовались и руководством М. С. Дринова.

Особенно ценили М. С. Дринова на родине его, в Болгарии. Он — деятель болгарского национального возрождения. Еще в молодости он явился основателем Болгарского научно-литературного общества („Болгарско Книжевно Дружество“). Во время русско-турецкой войны и освобождения Болгарии перед ним открывалось широкое поприще. В 1877 г. он на время покинул Харьковский университет и занял пост управляющего Отделом Народного Просвещения, т.-е. фактически министра, в Болгарии. Он принимал деятельное участие в выработке болгарской конституции и по его именно указанию и настоянию столицей Болгарии избрана София, а не Тырнов. После оккупации в 1879 г. Дринову предложен был пост министра и даже президента совета министров, а в 1881 году, после произведенного Александром Баттенбергским переворота,—пост председателя Государственного Совета. От первого предложения М. С. Дринов отказался, возвратился в Харьков, по его выражению, в „тихую пристань науки“, на профессорскую кафедру и поселился в приобретенном им скромном домике на окраине города, в „уезде“, как он шутливо говорил, на так называемой „Холодной горе“, с которой он, большой домосед, особенно в последние годы своей жизни, не любил „спускаться“. На другое предложение Дринов согласился было, составил даже проект Государственного Совета, но когда увидел, как нарушаются правила при выборах, отказался<sup>2)</sup> и остался до конца жизни скромным провинциальным профессором. Тридцатилетний юбилей М. С. Дринова был с большой торжественностью отпразднован как в Харькове, так и в Болгарии. Там в честь его издан юбилейный сборник, учреждена стипендия

<sup>1)</sup> См. „Историко-филологический факультет Харьковского университета за 100 лет его существования“. Биографический словарь (Юбилейное издание), 1908, стр. 134 сл.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 135.



его имени для тех, кто отправляется за границу, чтобы усовершенствоваться в науке; одна из улиц в Софии, та, на которой построен университет, названа его именем. А когда в 1906 году Дринов скончался, то на похороны его из Болгарии прибыла депутация, состоявшая из тогдашнего министра народного просвещения Шишманова, как представителя болгарского князя и правительства, и профессора Софийского университета Агуры, Златарского и Милетича. В 1909 г. Златарский и поэт болгарский Пенчо Славейков, прибывшие в Харьков на пути из Москвы, где они присутствовали на открытии памятника Гоголю, перевезли прах М. С. Дринова на родину.

С обширными знаниями и эрудицией М. С. Дринов соединял обаятельную простоту и доступность, скромность и добродушный юмор. Эти качества делали Дринова превосходным председателем Историко-Филологического Общества. После Потебни он внес непринужденность и оживление в заседания, и время его председательства было порой расцвета в жизни нашего общества. Вообще это был один из самых уважаемых и любимых профессоров, и, когда кто-либо из бывших студентов нашего факультета потом писал в Харьков и слал привет особенно дорогим ему и памятным профессорам, то в числе таких профессоров обыкновенно значилось и имя М. С. Дринова.

Когда мы слушали Дринова на первом курсе, он был еще довольно молод — ему не было тогда и сорока лет — и только что защитил свою докторскую диссертацию в Москве. Читал он нам курс славяноведения, который состоял из двух частей: первая содержала очерк тогдашнего положения славян, их местожительства, численности и проч., вторая, большая половина, заключала в себе историю, главным образом, внешнюю, политическую, южных славян — болгар и сербов. Но лектором Дринов был далеко неблестящим: он не обладал даром слова, говорил с некоторым акцентом, читал по запискам, текст которых, повидимому, не вполне был обработан, и нередко затруднялся в выражениях, подыскивая слова. Зато он был незаменимым руководителем при более специальных занятиях.

Весною 1877 года Дринов спешил нас проэкзаменовать, чтобы отправиться в Болгарию. В виду его долгого отсутствия, для преподавания славянских языков избран был Петр Алексеевич Безсонов, бывший перед тем библиотекарем Московского университета, ученик Бодянского, Леонтьева, Каткова, доктор honoris causa, приобревший известность изданием сборника русских народных стихов „Калеки переходные“, объяснением к „Песням“, собранным Киреевским, и находкой произведения Крижанича о русском государстве XVII в. („О промысле“). Безсонов не был историком, и Дмитр. Ив. Багалей не был его слушателем. Но это такая своеобразная личность в среде харьковской профессуры конца 70-х и начала 80-х годов, что я считаю не лишним остановиться на нем. В то время в нашем обществе сильны еще были симпатии к славянам, чувствовался подъем общественного настроения, и вступительная лекция Безсонова о славянстве, следы которого он всюду находил, имела шумный успех. Живо вспоминается самая большая из наших аудиторий, № 1, энтузиазм слушателей, чуть не на руках вынесших Безсонова после его лекции из аудитории. И затем — очень скоро — горькое разочарование... По выражению Потебни, Безсонов в своих взглядах и теориях был „научно невменяем“. На последнем курсе мы слушали у него так называемые „Славянские древности“. Но речь шла не только о славянах, но и о Суммире и Аккаде, Сеннааре, о культе Афродиты и вепре



и т. д. Безсонов везде видел славян: Парис оказывался русским „парнем“, Пилемен (~~Пиларен~~), в Илиаде вождь Пафлагонцев — воеводой Пламенацем; озеро Ван сближалось с Иваном, амазонки — с малжонками, пенаты — с украинскими панятами и т. д. Безсонов излагал нам в сущности теорию Шеллинга. Мы просили его разрешить нам литографировать лекции. „Что вы! — ответил он. — Это наука молодая, новая. Нас заклюют.“ Мы слушали и не понимали; не понимая, не могли и записывать за Безсоновым. Тогда он стал выдавать нам собственноручные записки. Мы списывали их, но и по ним готовиться к экзамену было сверх наших сил и понимания. В среде студентов обнаружилось брожение. Младшие курсы хотели представить записки Безсонова на суд факультета и даже совета. Старшие удержали их от этого. Решено было отправить депутацию, по два человека от курса, к декану, ознакомить его с лекциями Безсонова и заявить, что мы не в состоянии держать экзамен по этому предмету, ибо мы ничего не понимаем. В состав депутации вошел и я. Декан, В. К. Надлер, выслушал нас, ознакомился с выдержками из лекций Безсонова и обещал переговорить с ним, чтобы как-нибудь уладить дело. Говорят, между ними произошел крупный разговор. В результате в один из пасхальных дней мы были приглашены к П. А. Безсонову, который принял нас в кабинете, заваленном книгами и рукописями, похристосовался с нами и успокоил тем, что нам на экзамене розданы будут каждому вопросы на бумажке, где вместе с тем будет и короткое резюме ответа. Но и это мало помогло: я, по крайней мере, когда мне достался вопрос об Азах, почти ничего не мог ответить, тем не менее я получил пятерку. По окончании курса я бережно хранил лекции моих профессоров, но записки Безсонова, придя с экзамена, порвал в клочки и потом очень жалел, что лишил себя такого в некотором роде любопытного материала.

Характера П. А. Безсонов был тяжелого, неуживчивого и в нравственном отношении стоял невысоко. Получив кафедру в Харьковском университете по избранию с званием экстраординарного профессора, он вскоре, уже в начале 1880 года, обращается к министру с просьбой определить его ординарным профессором „с содержанием из источников по усмотрению его, министра, собственною его властью и по праву, исключительно ему предоставленному“. Министр, однако, предоставил совету решить посредством баллотировки вопрос о введении Безсонова в ординарные профессора. Безсонов от такого баллотирования отказался, и дело на этот раз расстроилось. Но с введением устава 1884 г. Безсонов возобновил свое ходатайство. „Радуясь всей душою введению нового университетского устава“ и принося „искреннейшее поздравление“ министру „с победой истинного просвещения и всеобщего блага“, он напоминал о своем тяжелом материальном положении и, в виду того, что „в настоящее время повышение зависит уже не от произвола выборов, а от представления г. попечителя или усмотрения самого министра“, просил оказать ему справедливость. „Тяжело подумать, — писал Безсонов, — чтобы вынуждены были оставлять университетскую службу или бедствовать на ней именно те лица, которые известны верными слугами науке, просвещению, отечеству и правительству, и в ту именно пору, когда дела университетов приобрели оборот к лучшему с новым уставом“. Теперь Безсонов получил давно желанную ординатуру. В его пользу высказался столь влиятельный тогда А. И. Георгиевский „во внимание к его продолжительной службе, к его ученым трудам и к его несомненно



доброму правительственному и патриотическому направлению<sup>1)</sup>. Некоторое время донесения или сообщения Безсонова пользовались влиянием в министерстве, *В* он многим *и* повредил. Например, когда проф. Н. Ф. Сумцов представил в 1885 году свою диссертацию на степень доктора на тему из истории юго-западной литературы половины XVIII в. („Иоанникий Галатовский и Лазарь Баранович“) и факультет принял ее, то Безсонов обвинил автора в украинофильстве, и министр передал книгу на рассмотрение К. Н. Бестужева-Рюмина и А. Ф. Бычкова, которые „ничего противозаконного“ в ней не нашли; тем не менее диспут не состоялся, и Н. Ф. Сумцову пришлось писать другую диссертацию. На диспуте Э. М. Диллена, ныне известного английского журналиста и знаменитого корреспондента, а в середине 80-х годов — скромного доцента Харьковского университета по сравнительному языковедению, Безсонов выступил ярким оппонентом, утверждая между прочим, что в самом заглавии диссертации: „Армянские этюды“, есть орфографическая ошибка (по Безсонову надо писать „Армянския этюды“, ибо по-французски *étude* женского рода); по окончании диспута, впрочем, облобызался с Дилленом. Но лобзание это оказалось Иудиным: под влиянием донесения Безсонова министр не утвердил Диллена в звании экстраординарного профессора. Безсонов противодействовал также принятию магистерской диссертации М. Г. Халанского: „Великорусские былины Киевского цикла“, и тот перенес ее в Петербургский университет на суд А. Н. Веселовского.

Безсонов был избран профессором Харьковского университета по представлению Потебни, и тот впоследствии называл это главным своим грехом.

Кафедру философии занимал Федор Александрович Зеленогорский. На первом курсе он читал нам психологию, и его лекции сначала нам нравились, так что когда нас, новичков, кто-либо спрашивал, какой профессор нам более всех нравится, то некоторые называли Ф. А. Зеленогорского. Средних лет в ту пору, высокий, плотный, с круглым, бритым лицом, Зеленогорский обладал громким голосом и, видимо, тщательно готовился к лекциям. Он не чувствовал себя свободно на кафедре, несколько волновался; из бокового кармана сюртука вынимал тетрадь почтовой бумаги большого формата, клал ее перед собой; по мере чтения лекции листы переворачивал, но редко заглядывал в них: он воспроизводил написанный текст почти на память, с некоторым подъемом, и это нас привлекало. Позже, на старших курсах, мы стали относиться к нему строже, и он не совсем удовлетворял многих из нас. Говоря о том или другом психологе или философе, Зеленогорский обыкновенно сообщал сначала биографию, а потом излагал учение его, при чем отмечал связь между психологическими и философскими исследованиями и методами с одной стороны, исследованиями и методами естественных наук с другой стороны. Курс его состоял не из теории психологии, а из истории ее. На второй год мы слушали у него курс логики, который представлял собой очерк различных методов доказательств и исследований в новое время. Очерк этот тогда печатался и послужил докторской диссертацией, которую Зеленогорский защищал в Московском университете. Защита прошла не совсем гладко — в особен-

<sup>1)</sup> Архив Мин. Нар. Просв. 16979/4368 (1884 г.) См. „Историю Харьковского университета при действии устава 1884 г.“ в моих „Истор. этюдах“.



ности нападал В. И. Герье; в газетах появился неблагоприятный отчет о диспуте, так что по возвращении в Харьков Ф. А. Зеленогорский во время лекции счел нужным как бы оправдаться перед нами. Мы ответили ему, что газетные отзывы не могут поколебать в нас то чувство уважения, которое мы к нему питаем. На третьем и четвертом курсах Зеленогорский читал нам историю философии, сначала новой, потом древней. Он, несомненно, обладал большими сведениями, был добросовестным, полезным преподавателем. Немецкой метафизической философии Ф. А. Зеленогорский не любил и питал симпатию к философии английской. В молодости он проходил духовную школу в Нижнем Новгороде; в семинарии, несмотря на отличные успехи, отнесен был во второй разряд „за то“, как мотивирует отметка в списке, „что при ответе на экзамене по св. писанию говорил ложь и эту ложь подтверждал св. же писанием; вообще видно, что он вольного духа“. С трудом удалось ему поступить в Казанскую Духовную Академию, откуда он перешел в Казанский университет. Зеленогорский был учеником М. М. Троицкого, но, как сам, по крайней мере, заявлял, не разделял его увлечений и односторонности. Его привлекала идея прогресса и теория развития, по собственным его словам<sup>1)</sup>; особенно же он выдвигал, как упомянуто, зависимость научных психологических исследований и методов от естественно-научных. Человек он был благородный, скромный, несколько застенчивый и конфузливый.

Начиная с третьего курса мы освобождались от слушания предметов филологических и должны были слушать новые для нас предметы — историю церкви, историю литературы русской, а затем и всеобщей. Историю церкви читал нам Амфиан Степанович Лебедев, один год — об отношении церкви к государству в России, а второй год — о положении белого духовенства на Руси. Лекции его отличались особым стилем: метким, выразительным, колоритным языком; А. С. Лебедев любил приводить цитаты из источников, из архивных документов, говорить их словами. Основывались эти лекции нередко на архивном материале, самолично извлеченном профессором, и содержали, в особенности курс о положении белого духовенства, яркие картины нравов и быта прошлого, характерные подробности. Проникнуты они были уважением к человеческой личности, к свободе совести и мысли, отвращением к всяческому гнету и насилию. С годами интерес слушателей к лекциям А. С. Лебедева не уменьшался, а, наоборот, возрастал, и до конца дней своих этот профессор — а умер он в большом возрасте, — сохранил за собой любовь и уважение своей аудитории. В 90-х годах, в течение десяти лет, А. С. Лебедев был деканом историко-филологического факультета. Нервный, легко поддающийся волнению, он тем не менее являлся в нашей коллегии Гомеровским Нестором, „благомыслящим полным“, и время его деканства было счастливой порой в жизни факультета.

Историю русской литературы начала XIX века читал нам только что начинавший тогда свою преподавательскую деятельность приват-доцент Николай Федорович Сумцов, впоследствии профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, действительный член Украинской, а историю всеобщей литературы мы слушали у Александра Ивановича Кирпичникова. Многие из нас знали имя

<sup>1)</sup> Историко-филологический факультет Харьковского университета „Биографич. словарь“, стр. 44.



А. И. Кирпичникова еще в гимназии по его грамматике русского языка, небольшой и легкой. Он уже раньше был доцентом Харьковского университета, но оставил его на время для работы над своею докторскою диссертациею и вернулся в него профессором после защиты своей диссертации о Св. Георгии и Егории Храбром в 1879 г. Я был тогда уже на четвертом курсе. А. И. Кирпичников читал нам историю немецкой и французской литературы XVIII в., при чем, в виду того, что мы не были подробно знакомы с историей французской революции, он останавливался на этой истории, придерживаясь главным образом Гейссера. О курсе его, легком, популярном, полном биографических подробностей, дают понятие соответствующие отделы „Истории всеобщей литературы“, изданной под редакцией Корша и самого Кирпичникова. А. И. Кирпичников обладал обширными сведениями не только в области западно-европейской литературы, но и русской и в области истории искусства. Для него, воспитанника Московского университета, ученика Ф. И. Буслая, эти предметы являлись тесно связанными между собой. Он не был сторонником узкой специализации и узко-утилитарного направления. „Ужели,— говорил он,— человечество четыре столетия работало для того, чтобы дойти до того же гибельного развития утилитарного, специального обучения, от которого нас спас гуманизм?“ Позже Кирпичников, кроме истории западно-европейской литературы, преподавал и языки: древне-немецкий, провансальский, старо-французский, итальянский и вел практические занятия: у него был первый семинар на нашем факультете. Общительность и доступность, простота и мягкость, участливость чрезвычайно располагали студентов к А. И. Кирпичникову. Это был один из самых популярных профессоров в мое время. О нем справедливо говорили, что для нас он не профессор, не жрец науки, недоступный, а скорее старший товарищ наш. Кирпичников пробыл в Харьковском университете недолго: в 1884 г. он перешел в Одессу, а оттуда в 1897 г. — в родной Московский университет.

Таковы были представители исторических дисциплин на историко-филологическом факультете Харьковского университета в мои студенческие годы<sup>1)</sup>. При суждении о них надо, конечно, помнить, что с тех пор прошло полвека; в науке обнаружались новые направления, к ней теперь предъявляются во многих отношениях иные требования.

Харьковский университет возник, как известно, по частной инициативе (В. Н. Каразина), при содействии различных общественных слоев. В прошлом он всегда был тесно связан с обществом. Самый город в значительной мере был ему некогда обязан своим ростом: университет служил главной притягательной силой, прежде чем развились харьковские ярмарки, прежде чем Харьков стал торговым и железнодорожным узлом, появились в нем банки и т. д. И харьковские профессора играли прежде видную роль в общественной жизни. Они были, например, инициаторами общества пособия нуждавшимся студентам, общества грамотности с Н. Н. Бекетовым во главе — общества, развившего впоследствии широко свою деятельность, тоже при участии профессоров. Впоследствии Харьковская Общественная Библиотека, с ее „американским ростом“, обширное соединенное Пушкинское училище и т. д. — обязаны профессорам своим развитием или возникновением. Рост Общественной Библиотеки и постройка особого здания для нее неразрывно связаны с именем Дмитрия Ивановича

<sup>1)</sup> О профессорах-филологах и лингвистах см. „Анналы“, II (1923).



Багалея, а Пушкинское училище было детищем проф. Н. Ф. Сумцова. Когда в Харькове в декабре 1880 г. основана была газета „Южный Край“, то первыми редакторами ее были профессора А. Н. Стоянов и Л. Е. Владимиров; сотрудничали в ней сначала тоже преимущественно профессора (в „Южном Крае“, между прочим, М. Н. Петров, как я уже говорил, поместил свою „Историческую подготовку“). „Южный Край“ явился у нас первою долговечною частною газетою. В течение своего существования газета бывала разного направления. В начале, при А. Н. Стоянове и Л. Е. Владимирове, это был либеральный орган. Но А. Н. Стоянов и Л. Е. Владимиров вскоре покинули редакторство.

Остается сказать несколько слов о студентах того времени. На историко-филологическом факультете слушателей было немного — на всем факультете человек сто. Люди это были, за редкими исключениями, смирные, скромные, и на нас студенты других факультетов смотрели свысока: они задавали тон, а не мы. Типичными студентами являлись большей частью медики и естественники. Такой студент носил длинные волосы, бороду, очки, шляпу с широчайшими полями, длинные сапоги-ботфорты, на плечах плэд, в руках — толстую палку. Юристы к этому типу мало подходили: они отличались франтоватостью. Из книг, по крайней мере историки и юристы, считали обязательным прочесть Бокля, Д. С. Милля, Спенсера. В студенты поступали тогда частью из гимназий, а частью из семинарий. Семинаристы пользовались репутацией трудолюбивых, усидчивых, лучше подготовленных к слушанию философии. Большинство филологов были бедняки, иные уже семейные; жили уроками, которые тогда легче было достать, или на стипендии, которых было немало на нашем факультете; некоторые зарабатывали тем, что пели в церковном хоре или переписывали лекции для литографирования. А были и такие, которые являлись в роли предпринимателей — брали на себя издание литографированных лекций. Но это оказывалось делом хлопотливым, неприятным, иногда даже убыточным: собирать взносы с подписчиков было нелегко; часто возникали нарекания то из-за дорогой цены, то из-за неаккуратного выхода записок; бывали даже обвинения прямо в недобросовестности издателей; иногда предприятие расстраивалось, издание не доводилось до конца, и студенты оставались без записок.

Устраивались, конечно, студенческие вечера. Сбор шел в пользу общества пособия нуждающимся студентам; исполнителями выступали не только студенты, но и посторонние „любители“, артисты. Особенным многолюдством отличались вечера в годовщину основания университета, 17 января, сопровождавшиеся, разумеется, речами профессоров и студентов; любимых профессоров приветствовали, качали и т. д. Были, конечно, и попойки, существовала и „мертвецкая“... Словом, было то, что бывало и в других университетах.

Время моего студенчества — уже время студенческих волнений. Еще когда я был на первом курсе, осенью 1876 г. вспыхнуло волнение по незначительному поводу: одного студента-юриста, перешедшего в Харьковский университет из Ярославского Юридического Лицея, обвинили в шпионстве и доносах. Начались довольно бурные сходки в „сборном зале“ — раздевальной, она же и курилка. У обвиняемого нашлись защитники, и прошло немало времени, прежде чем волнение улеглось. Гораздо серьезнее были „беспорядки“ конца 1878 г. Они связаны с общим настроением тогдашнего общества, с его разочарованием и недовольством после русско-турецкой войны и Берлинского конгресса,



с усилением революционного движения и террористических актов. Волнения в Харьковском университете вызваны были событиями в Петербургском и Московском университетах, с которыми харьковские студенты имели сношения, и в местном Ветеринарном Институте, где произошло столкновение между одним из профессоров (Журавским) и слушателями из-за вечерних репетиций и требований профессора, которые студенты находили придирчивыми. Профессор был освистан и изгнан из аудитории. По этому поводу сходки в университете для поддержки ветеринаров принимали все более и более бурный характер, все большие и большие размеры. Ни увещания любимого студентами инспектора Ф. Ф. Рогожина, ни меры, принятые ректором А. С. Питрой, ни появление на сходках попечителя Жерве, — ничего не помогало. Попечителю кто-то крикнул из толпы: „Разве вы не понимаете?... Или у вас голова сеном набита?“ Попечитель счел за лучшее удалиться. Чтение лекций, впрочем, кое-как продолжалось. Утром 14 декабря 1878 г. я пошел в университет на лекции. Подойдя к зданию, где аудитории, я увидел толпу студентов, стоящую на улице. Оказалось, что двери в аудитории заперты, и лекции объявлены прекращенными. Студенты требовали, чтобы их впустили. Толпа не расходилась и росла. Прошло несколько часов. На площади, у угла университетских зданий, расположился отряд казаков. Случилось так, что тогда обязанности губернатора исполнял управляющий казенной палатой Мартенс, уже старик. Он под'ехал на дрожках и обратился к студентам с несколькими словами, предлагая разойтись. Но студенты попрежнему не расходились. Мартенс уехал, а казацкий офицер — не знаю, по собственному ли побуждению или по чьему-либо приказу — скомандовал казакам, и те, верхом на конях, с нагайками в руках, налетели на студентов. Началось избиение... Оказались слегка раненные, которых поместили одних в клиники, других в земскую больницу (на Сабурову дачу). Многих потом арестовали, заключили в арестантские роги... Легко представить себе то впечатление, которое произвело на университетскую среду это избиение студентов нагайками. Совет собрался в экстренное заседание. Он обратился к студентам с успокоительным воззванием, а с другой стороны, составил решительный протест<sup>1)</sup>, выражая „непреодолимое негодование“ по поводу образа действий военной и гражданской власти в день 14 декабря, прося заступничества министра перед государем, „следствия и суда над всеми безусловно, кто с разных сторон участвовал в этом деле“. Протест попал и на страницы революционной прессы. Но следствия и суда не последовало; несколько студентов было выслано; занятия в университете прерваны на довольно продолжительный срок; попечитель Жерве, вообще мало вмешивавшийся в университетские дела, заменен генералом Максимовским; ректор А. С. Питра, мягкий и в высшей степени корректный, которого совет командировал в Петербург для объяснений, не был там принят и вскоре подал в отставку. Ушел и „отец студентов“, инспектор Федор Филиппович Рогожин<sup>2)</sup>. В университете водворилась тяжелая атмосфера...

<sup>1)</sup> Говорили, что составление этого протеста было поручено, между прочим, проф. А. Н. Стоянову.

<sup>2)</sup> В то время инспекция не имела того значения, какое ей было придано в 80-х годах. В наше время ее роль была скромная и — у нас, при Ф. Ф. Рогожине — благожелательная по отношению к студентам. Не „наблюдением“, не сыском занималась она, а больше оказанием всяческого содействия студентам в их нуждах и затруднениях, в приискании им занятий, уроков и т. под.



